

Детство Василия Петровича Ткачёва прошло в Белоруссии.

1941 год. Война, война началась! Уже в конце июля в село (с. Разрытое Смольковского сельсовета Костюковического района Могилевской области) прикатили немцы и начали хозяйничать с весёлым гоголом сверхчеловеков. Они ходили в расстегнутых по-бандитски рубашках с засученными рукавами. Поставили полевую кухню и готовили блюда из мяса убитого скота, заставляя женщин чистить картошку. Заливали ульи водой и вытаскивали рамки с сотами. Отбирали у колхозников хлеб, молоко, масло и прочее. Василия поражало в немцах всё: речь, форма, машины. Дом Ткачёвых стоял в середине села, но в стороне от центральной дороги, во дворе был колодец.

Одним днём Васёк лежал на кровати под деревяным пологом, отдыхая от жары и мухоты, гудевшей в избе. Мать хлопотала у печи. На лавке напротив двери сидел немецкий солдат с забинтованной от чирьев шеей. Вдруг он спросил:

– Какая же у вас семья? Где дети?

Удивлённая чисто русской речью и обрадованная тёплым тоном, мать, неграмотная женщина, выложила всё, как на блюдечке:

– Один сын у меня куманист, другой комсомолец. Где-то воюют они и скитаются, бедненькие, как и вы!

– Мамаша, так нельзя говорить! Мы же враги! Я серб, мобилизованный в армию, а если бы настоящий немец?

– Ой, деточка, я и не знала! – всплеснула мать руками.

Отец вернулся с лесной пасаки и ругался на мать (солдат ушёл):

– Дура ты, дура! Кому всё рассказываешь! Нас всех могли спалить и повесить!

Васёк был третьим сыном-пионером, который только что окончил семилетку и готовился к приёму в комсомол. Отец же, православный, не любил коммунистических порядков. Он негодовал, когда сын-комсомолец, братка Васёк, должен был показывать пример и выходить на сев в Пасху.

– Ироды вы! Антихристы! Ничего не понимаете!

Всего у Ткачёвых было двенадцать детей, куца мала.

Прошёл год и больше. В ноябре 1942 года немцы собрали в Костюковичах молодежь пятнадцати – шестнадцати лет и подогнали вагоны-телятники. «Шнель, шнель», – приклад в мосластую спину. «Шнель, шнель», – здоровый пинок в зад. Грубые, гортанные голоса. Неимоверная давка и духота, вопли и причитания.

Вместе ребят и девчат набили в вагоны плотно, как снопами. Некоторые разбегались. Им кричали: «Хальт!» – и расстреливали из автоматов.

Два дня ехали в смраде пота и мочи. Василий попал к стене, подальше от двери. До войны он никогда не ездил поездом. Первая остановка была в Гданьске. Когда дверь открылась, отсырелись мёртвые (задохнувшиеся) и сошедшие с ума, которых куда-то увели... В вагоне стало просторнее. Дали солому, можно полежать. Ехали и плакали.

В Восточной Пруссии пересадили в пассажирские вагоны. Пархим, Берлин, Бремен. Высадили и повели по Бремену, оборванных и злобных.

– Штынкенд! Штынкенд руссиш швайне! Штынкенд хунде! (Вонючие русские свиньи! Вонючие собаки!), – кричали им дамы в лисьих воротниках, две-три лисьих головы на воротнике с глазами по плечам.

Видимо, жёны эсэсовцев. Кроме лис, на воротниках ещё какие-то зверьки.

Огромный лагерь, гвалт табора, сборные бараки, двухъярусные койки, матрасы со стружкой и соломой.

– Ауфштейн! (Подъём!) – горланит дежурный вахман.

Подъём в шесть, отбой в одиннадцать. Рукомойники прямо в бараке. Никакого мыла. Из предметов гигиены только полотенце.

– Ауфштейн! Ауфштейн антретен! (Строиться!) Гиммлиг! Гастед! Алыгайде! – объявлялись названия заводов.

Каждый должен был знать свою колонну. На работу уходили без завтрака. Если на завтрак давали баланду, тогда не кормили обедом. Строем вели к особой остановке, куда подавали задрипанный трамвайчик, и везли на завод. Лагерная охрана сдавала колонну заводской вахте, помещение которой оборудовалось сигнализацией. Вокруг трёхметровая кирпичная с облицовочкой стена забора, наверху штыри и проволока.

В цеху чистенько и всё упорядоченно. Встречает герр мастер, герр шеф. Лакированные туфельки, новёхонький костюмчик и фетровые щётки, чтобы брюки не мялись.

– Ду, ду, ду! Москау капут, Шталин капут. Криг форбай. Их ин ди Украине гейн унд вирд хастебер. Арбайт фо миа! Гут арбайтен – зонтаг шпациен. Шлехт арбайтен – зонтаг арбайтен (Ты, ты, ты! Москве капут, Сталину капут. Войне конец. Я поеду на Украину и буду хозяином. А вы будете у меня работать. В воскресенье дам выходной. Плохо будете работать – и в воскресенье будете работать).

Герр мастер бил пацанов палкой. Вдвоём они ящик поднять не могут, а вчетвером места нет. Но ему какое дело?

– Фесте! Фесте! Фесте! (Быстрее!..)

За смещённые, косые глаза его прозвали Камбалой.

– Камбала идёт!

– Вас? Вас ист дас камбаля?

– Гут ман.

– А-а-а... Я, я ... Их гут ман (Да, я хороший человек).

Подростки работали чернорабочими, взрослые слесарили-токарили. Приходилось делать всякое. Столбы, плашки, корыта и желоба для бауэров. Опалубка на болтах, цемент со шлаком, и получается лёгкий столб, нужный для хозяйства.

И в городе, и на заводах ровняли ямы после бомбёжек, ремонтировали развороченные крыши.

На пару дней пригоняли табунок девчонок, польских евреек, просеивать песок. Скелеты, со-

всем тени, лопату поднять не могут. Хотя все жили одной заботой – как бы выжить самим, но этих девчонок было жалко и больно на них смотреть.

Гудок сигналил об обеденном перерыве. Немцы-рабочие спешили в столовую. Или на виду у голодных лагерников ели прямо на верстаках, разогревали котелки автогеном, доставали бутерброды, жевали и запивали чаем из термосов.

Вечером в лагере ждали баланда и хлеб, напленный ниткой, чтобы не крошился, так как из него сыпались крошки вместе с опилками, если резать ножом. Бдительно следили, чтобы все куски были ровные. Брали их по жребью, повернувшись спиной.

С работы приходили часов в восемь – девять вечера и сидели усталые на нарах, чиня одежду и толкуя про еду, еду, еду... Все разговоры – о пище. О вкусных блюдах. О том, что приходилось есть раньше. О будущем, что мечтается съесть. О хлебе, картошке, борще, каше, масле.

В том первом лагере, куда попал Ткачёв, спать все должны были в рубашках, но без порток, что с непривычки казалось противоестественным. Такую европейскую культуру прививал будлу комендант по прозвищу Папаша, у которого кожа с подбородка свисала, как у коровы. Он всегда проверял исполнение своих приказов. Найдя ночью одного поляка в штанах, Папаша заставил его присесть на корточки и прыгать, громко квакая. Затем весь барак за провинность одного делал то же самое. Зрелище прыгающих гуськом и квакающих человечков очень Папашу забавляло.

Парня, который мочился по болезни в постель, он воспитывал особо, приказав тому ходить по бетонным дорожкам с сырым матрасом на голове. Ещё он любил выдернуть стойки, которые держат поперечные плашки, крепящие нары. Спящий падает на нижнего, оба пугаются – немцу смешно.

В субботу работали полдня, если не приходилось раскапывать завалы от бомбёжек. В воскресенье выходной. В эти дни комендант часто развлекался тем, что приказывал вылить весь запас воды в противопожарной бочке (ведер 50). Неприятно шлёпать по бетону, залитому водой. Поневоле нужно убирать. Пацаны набрасывались, как муравьи, и собирали воду кто чем – баночкой, кружкой, мешковиной.

Особое наслаждение Папаше приносило наказание поркой. Трёхногая табуретка. Станови-

лись в наклон, глядя на неё локти. Вахман стегал пониже ягодич (штаны не снимались).

– Айн! Цвай! Драй! – торжествовал Папаша.

Били так, чтобы дольше помнил вину и наказание. Жилы внатяжку, кровяные рубцы, десять – пятнадцать горячих. Но если орёшь, то получишь все двадцать пять. Впрочем, всё быстро заживало. Как на собаках. Когда этот лагерь полностью сгорел от английских зажигательных бомб, Ткачёва переместили в другой.

– Нынке нэбо накондубасилось, моква будэ.

Васёк рот разинул, не понимая, пока не перевели: сегодня небо нахмурилось, дождь будет. Случайно он попал в барак с украинцами из Волыни. Здесь жили не общим табором, а в комнатах по шесть человек. Даже закрывались изнутри.

– Витчини, а то завертку видгепеае! (Открой, а то крючок сорвёт!) – говорили, когда кто-то стучал в дверь.

Но те же нары. Мешковина со стружкой вместо матрасов. Подушка и одеяла из грубой ткани с толстыми нитками.

Баландеры разливали баланду по талонам. Все старались есть как можно быстрее, чтобы получить добавку, обычно четыре – пять котелков оставалось. Хохлы отталкивали других и требовали всю добавку себе, так как они приехали сюда добровольно и к тому же помогали вахманам в роли полицейав. Шла борьба. Волынцы и настояли на введении отличительных знаков, получивших хождение в лагере. Пшеничный колос на белом тряпичном квадрате – хохлы. Две бульбы – белорусы. Чёрный крест – русские. Азиаты и так отличались физиономиями.

Дни слились в сплошную безнадёжную пелену. Уже много месяцев Василий маялся в дурноте лагерной жизни. Зимой и летом одна и та же одежка. Баня раз в две недели. Пропарочная камера. И всё равно вши. Состояние отупения и животной покорности. Первое время он чувствовал острое желание выжить, приспособиться и выжить. Теперь же ему и не верилось, что вернётся домой живым. Вокруг ежедневно умирали люди. Труднее приходилось курильщикам. Они меняли хлеб на табак (махру, которая зекам понемногу выдавалась). Пайка хлеба – это треть буханки, в массе которой преобладали опилки. Глядишь, не встаёт человек с нар. Полежит два три дня – и готов.

Курили прямо в бараках, а на заводах – в туалетах, отдельных для немцев и арбайтеров,

представлявших собой чистые сооружения с кафелем, как сейчас у нас на вокзалах. Ткачёва спасло то, что он не курил.

Его засасывала апатия. Дом родной растворился в неведомой дали, стал забываться. Забывались лица родных, матери и отца. Они обретали всё более смутные очертания. Да и стоит ли дом? Живы ли родные? При отступлении немцы могли сжечь деревню, убить жителей. А о том, что немцы отступали, в лагере знали. Информация просачивалась. И если что-то знал хоть один, знали все другие. Поскольку переписка разрешалась, приходили весточки с родины. В одной открытке из Восточной Украины сообщалось: нынче картошка цветёт буйным красным цветом, а белый посыхает, наверное, пропадёт. И все догадывались, что речь о Красной армии и фашистах.

Получил открытку и Васёк. Вместо неграмотных родителей её написала учительница Анна Ивановна Хрупская. Все живы и здоровы, просто сообщалось в ней. Вася ответил, что живёт хорошо, как Настя Запекина. А родители уж знали Настю, самую бедную в деревне, живущую без куска хлеба в избушке без пола.

В это время Василий работал на авиазаводе, который выпускал «Фокке-Вульфы». Рядом простирался огромный аэродром, замаскированный макетами чёрных и пёстрых коров. Сверху смотреть – мирное пастбище. Дорога из лагеря на завод шла между двумя судоходными реками. Рукав одной из них заходил тупиком в болото, где возвели ложные цеха со стенами и крышами из камышовых матов.

Здесь, в матах, спрятала Швачко тело жертвы. Идя вдвоём по дороге, она убила подругу за семнадцать марок (охрана тогда уже была ослаблена, обе ходили без конвоя; что касается марок, то где-то подруга их заработала). Немцы объявили по лагерю о повешении Евдокии Георгиевны Швачко. Васёк знал её, рослую дивчину лет двадцати. Женщины жили в соседнем бараке. В принципе, можно было общаться и даже куртить любовь. Но из-за голода к ним не тянуло.

Василий перевёлся в другой барак, где жили земляки из Белоруссии и много украинцев, только не западнцев и не «добровильцев», желающих встречать фрицев хлибом-силью. С одним из них, сверстником Иваном, таким же долговязым, как он сам, но более крепким, Ткачёв сдружился.

Вокруг лагеря расстиались поля, здесь и там виднелись строения бауэров. Пришла благодатная германская осень. Поля оголились. Житный покой застыл по ту сторону колючей проволоки, если не считать авианалётов.

Делая ночные вылазки, обитатели лагеря обшарили всё в радиусе трёх километров и разведали кое-что съестное. С ходом войны охрана слабела, в то время над бараком начальствовал хромой вахман, а в единственной сторожевой будке, возвышавшейся над ограждением, сидел старик-инвалид с винтовкой. Ночью ничего не стоило приподнять проволоку, подрывать под ней песок (там песчаная почва) и выскользнуть наружу.

Однажды прямо из лагеря увидели в сохранявшей отчётливость прозрачной дали, как бауэр привозит на телеге картошку и буртует её в яме, очевидно, для посадки весной. На него работали два поляка и француз. Разведка показала, что клубни в яме здоровенные. В разработке этой ямы хорошие организаторские способности проявил уборщик Витя Тарасюк, большинству хлопцев годившийся в отцы. Он скомандовал: воровать, но следов не оставлять. Ходить к яме не одной тропой, а многими. Обязательно сохранять внешнюю форму кучи поверх земли. Ходить за бульбой строго по очереди, разбившись на пятёрки.

Началась осторожная, аккуратная ночная работа. Далеко не все подключились к ней, так как риск был немалый, а лишь те, кто отчаялся: а, риск лучше, чем голодная смерть, мать её!.. Двое-трое пробирались к яме, двое оставались на вассере.

В бараке стояла круглая печь без верхней плиты (в городских лагерях печей не имелось). Топилась она прессованным торфом, который воровали на заводе и проносили за пазухой или в штанине. Иногда удавалось добыть уголь. Печь давала отличный жар. Прямо внутрь ставили специально сделанную кастрюлю с длинной ручкой. Смотришь, она уже кипит. Глядишь, и другие варят и едят, как по конвейеру.

Однажды ночью в барак зашёл комендант. Увидел, что держат в печи кастрюлю. Повернулся и ушёл. «Я вас нэ бачив и вы мэнэ нэ бачили», – якобы показал своим видом комендант, в переводе Тарасюка.

То был особый комендант. Тщедушный на вид, немолодой, раненый и больной, но безусловно добрый, как в сказке Андерсена. Он зани-

мался своим хозяйством, держал при лагере кур, гусей, кроликов и не лез в воспитатели арбайтеров. Больше этого, давал им советы вроде того, что если они, работая у бауэров, будут плохо накормлены, то могут отказаться от работы. Увидев ночной пир, он распорядился отдать узникам бочку для очисток. Тарасюк поставил её возле туалета – обычного дощатого сортира во дворе, чтобы никто не сунулся туда искать, и варил в поставленном рядом котле очистки в виде дополнительного рациона.

Месяца через два всю картошку съели, а было её тонн десять. Несколько раз в лёгком фэ-этоне хозяин подъезжал к яме и быстро поворачивал назад, видя, что всё в порядке.

Наступила весна, пора сажать картошку. Хозяин вскрыл яму, а там ни единой бульбочки.

Лагерная колонна возвращалась с работы и увидела человек пять гестаповцев при мотоциклах с пулемётами. Среди них хозяин. По очереди брали из строя, заставляли показывать свой шкаф (где полотенца). Ничего не найдя, ставили на шкафу мелом крест. Комендант сказал, что ничего не видел. Нет доказательств – нет преступления. Гестаповцы уехали ни с чем.

Вскоре привели собак и поставили их будки по углам. Внутри зоны, дурачьё, посадили псов. Их быстро приручили и ласково гладили. Ночные вылазки продолжались с заходами подальше, хотя ничего крупного больше не попадалось. Так, мелочь. Кролика из клетки вынешь, яблоко сорвешь. Опасно. Бауэры начеку, собаки хозяйские лают. Начались жалобы властям. Не повторилось больше такой удачи, как с картошкой. И то, если бы не комендант...

Несмотря на окончание семилетки, своё пионерство и комсомольство братьев, сознание Василия Ткачёва было политически неразвито. Не первый год шла война, но он никогда не задумывался и не понимал, какие цели преследуют немцы. Дремучее невежество владело им. Однако когда приходили сытые власовцы в немецкой форме, у него возникало желание обматерить их. Они набирали людей в ПВО и рассказывали, что обеспечивают защиту города от авиации новым способом. Открывают вентиля таких-то бочек, и город окутывается туманом (который, правда иногда относил ветер).

– Друзья! Записывайтесь к нам! Война кончится, немецкое правительство даст нам определённые льготы...

Их провожали матами и свистом.

– Пошёл ты! Нашёлся друг с Брянского леса!

Мало кто шёл к ним служить, и всё же находились и такие, кто не хотел умирать голодной смертью.

С ходом войны немцы добрели к русским. Вдвоём с товарищем Ткачёв копал яму возле погребка на отшибе территории завода. Рядом казарма и аллея, ведущая в столовую. Туда и обратно проходили офицеры, на которых хлопцы не обращали внимания. Идут двое.

– Рус!

Васёк обернулся. В кусты что-то полетело, и офицеры удалились не оглядываясь. В траве Ткачёв нашёл сверток. Развернули – хлеб!

– А если отравленный?

– Кому надо нас травить? Что мы, нужны кому?

Они прыгнули в яму и мигом хлеб съели. Хороший, ржаной, без опилок.

В другом случае колонна шла с работы. Бауэрша встретила и попросила охрану дать четыре человека под её ответственность. На следующий день за четверыми пришла работница, неразговорчивая немка, и проводила их к месту. Перед работой хозяйка дала скибочки хлеба, намазанные мармеладом и патокой.

Машина, которую возила четвёрка лошадей, вязала снопы и сбрасывала. Рабочие собирали их. После работы фрау пригласила к себе в дом. Сидя перед кухней у мешков с удобрениями, ждали, когда она позовет. Пришёл её сын, года на два старше Василия, сел напротив на мешки, грустно лупая глазами. Задумчивый и невесёлый. Мать принесла чашу с картошкой, стручками варёного гороха и фасоли (обед у них без хлеба) и показала на сына.

– Майне кинде русшиш зольдатен хенде... (Моему сыну отбили руку).

– На х...! – сказал один из рабочих. – Надо было голову оторвать! Его не просили к нам!

Сын поднялся и чисто по-русски ответил:

– А, всё равно...

И пошёл. Сидя за одним столом с хозяевами, ели работники без аппетита, ошарашенные неожиданным исходом разговора. До лагеря их проводила та же неразговорчивая немка.

Эдуарда, преданного Родине человека, знал и уважал весь барак. Офицер Красной армии, он попал в окружение, отлёживался раненый в деревне и был угнан в Германию как рядовой

колхозник. Невысокий и не очень широкий в плечах, находчивый и хитрый, он всё умел, за ним люди могли пойти. Работал он в токарном цеху и выточил зажигалку размером с фляжку на пол-литра бензина. Обменивал токарные безделушки с немцами-рабочими на еду и умудрялся пронести в зону мясной фарш под баландой в миске (заключённым привозили обед во флягах). Здорово рисовал и сделал точками портреты переводчиц, которые всегда ходили вдвоём, рослые, в кителях, юбках и длинных пилотках. И которые...

Впрочем, дело было так. Колонна шла на завод в сопровождении хромого вахмана. Он ехал на велосипеде, крутя одну педаль, вторая нога у него не гнулась. Ему захотелось ехать повеселее.

– Зинген! Зинген! (Спойте!)

Голос запеваля Эдуарда вознёсся над равниной:

*Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши мужеством полны сердца...*

Бодро колонна шагала с песней. Вахман улыбался, довольный, пока крича не подбежали обе заводские переводчицы. Не слезая с велосипеда, вахман врезал запевале костылём по плечам.

Эдуард жил мыслями о побеге. Бежать с ним решили Смирнов и Гусейнов. Они наполнили зажигалку-фляжку бензином, накопили кое-какую снедь, вылезли ночью из-под проволоки и взяли направление на Польшу.

Через несколько дней на завод работников утром не повели.

– Пойдёте сегодня на экскурсию, – сообщила переводчица без улыбки.

Рабов построили и направили к поляне у ангаров. Там на пустом месте стояла виселица. Человек пятьсот рассадили полукругом в несколько рядов метрах в двадцати пяти – тридцати от орудия смерти.

Подъехала чёрная машина вроде полуторки с приткнутым к кабине ящиком, откуда два «добровольца» вывели Гусейнова и накинули на его шею петлю. Она попала концом вперёд, и немец-солдат её поправил, перевернул назад. Руки Гусейнова были скованы за спиной наручниками. Чёрненький, лет семнадцати, одет в тряпье. На лице застыла гримаса предсмертной улыбки.

Гестаповец произнёс речь, которую другой немец перевёл:

– Вы видите перед собой вашего парня. Он бежал и занимался разбоем, много-много раз воровал. И немецкое правительство решило его повесить в назидание остальным. Вы все должны понимать это!

Между собой пацаны осуждали Гусейнова за молчание. Мог бы крикнуть: «Да здравствует Родина!», всё равно конец. Но Гусейнов вымолвил лишь слово: «Один». Никому ни о чём не говорившее слово. Все гадали: один раз бежал? Один раз украл? Он стоял на краю кузова с откинутым бортом.

Послышался свисток. Машина медленно тронулась, верёвка натянулась. Гусейнов инстинктивно рванулся по ходу машины. Тело его повисло в воздухе и трижды встрепенулось. Язык вывалился набок и стал пухнуть на глазах.

Зрителей заставили по два раза подойти к нему. Ходили хороводом и смотрели. Те, кто не хотел или не мог приблизиться, получали по зубам.

Смирнов погиб позже. Судьба Эдуарда долгое время оставалась неизвестной.

На побег Василия подбил его друг Иван, даже в лагерных условиях не утративший богатырской мощи, с толстенной шеей-чугунякой, гудевший басом:

– Чого тэбе надо? Пийдемо до станции, сядем у вагон, иде уголь та дрова, возьмем дорожи до Польши и там побачимо. Там будэ видно.

Они подсушили по три пайки хлеба и вылезли ночью за территорию. К тому времени комендант сменился, охрана по-прежнему была почти никакая. Василий приподнял проволоку. Иван пролез первый и поднял проволоку для друга.

Вокруг цепенела равнинная местность, мглстая под светящей сквозь туман луной. Шла весна (1944 год) на границе марта и апреля. С моря дул самый «хивус», сырой северный ветер, губивший много людей, пронизывая через обноски до косточек. Беглецы пошли к Бремену курсом, противоположным заводу. Дорогу они знали, так как им приходилось нести чемоданы отъезжающего в отпуск вахмана. Вышли на окраинную улочку, по пути ещё река и красивый многоарочный мост, по которому ходили трамваи. Мост почему-то не охранялся. Шли при уличном освещении, ни одного прохожего не встретив. Конечно, глупо. В залатанных пиджачишках, не владея в должной мере языком, чтобы сойти за немцев.

Благополучно пришагали к станции, полностью крытой вместе со стоящими на ней соста-

вами. Стоя на путях, начали искать товарняки. Выглядывали, изучали, где какое будет «купе».

– Пойду посмотрю, угольник там или чё, – длинный, худой Васёк подлезил под вагоны.

Рассветало. Путьевые рабочие-поляки ремонтировали шпалы. К ним хлопцы подходить боялись. Весь день просидели в укромном месте. К вечеру стали выходить из-за вагонов, чтобы всё-таки облюбовать нужный состав, пока светло. Заметили немца с жезлом и тут же спрятались. А он как раз обратил внимание на мелькание голов и куда-то исчез. Минут через двадцать привёл полицейского в чёрной гестаповской форме, фуражке с высокой тульей и кокардой.

– Хальт! (Стой!)

Бежать некуда. Сами подошли.

– Почему вы здесь? Из какого лагеря? – спросил полицейский по-немецки, для лучшей разговорчивости вlepив каждому пощёчину.

Их привели на дежурный пункт гестапо, позвонили в лагерь, откуда приехал кто-то из вахманов.

Далее – комендатура «родного» лагеря, снова пощёчины (от вахмана) и дубинные кулаки под дых (от нового коменданта). Лагерное начальство ощущало некое бесчестье от побега своих подопечных. Составили документ и позвонили в городское гестапо. Оттуда приехал «чёрный ворон». Беглецов увезли в бременскую тюрьму, отдававшую подавляющей страхотой безнадежности. Дверь и турникет с лопатками, ещё несколько дверей, железные засовы, каземат с толстыми каменными стенами.

Вместе с Иваном их завели в камеру с бетонным полом и единственным голым топчаном. Наверху, метрах в трёх от пола малюсенькое оконце. Надпись на стене по-русски белой несмывалкой: «Иуда». В камере томились два русских военнопленных в солдатской форме, уже в годах, избитые и измученные. Они вспоминали свои бои. Хлопцев за побег обозвали «молокососиками». А те сидели и лежали на полу, придавленные безразличием ко всему. Лишь бы не убили.

Дня через три их увезли. Ивана неизвестно куда, а Василия в красные пески карательного лагеря, не объявляя приговора. Он ехал в машине-фургоне с зарешёченными окошечками и охранниками в отделении у кабины.

Наконец-то дверь фургона открылась. Кругом красная пустыня. Пески, пески, ни единого деревца и сборно-щитовые бараки за колючей

провоолокой, бараки-сарай на болтах, крыши которых подпирают столбы.

Вышки с прожекторами, дороги, вымощенные булыжником, три ряда проволоки, внутренний ряд под высоким напряжением, между двумя внешними бегают овчарки.

Этот ад страшнее того, откуда Васёк пытался бежать. Длинные хвостатые вши, кишачные в рубцах одежды. Вечером рубаху стянешь с себя – и к печке. Они потрескивают, сгорая. А утром – новая, молодая рать.

Павильон умывальни во дворе. Кто-то умный сидел в кабинете и сочинял правила. По лагерным правилам, пленный обязан выйти к павильону без рубашки, намочить и растереть грудь. Наблюдающему за умыванием вахману-мадяру смешно, как доходяги трепыхаются под каплями, отжимая соски умывальника. Боязливых он берёт за шкурку и суёт под холодные струи.

Туалет по принципу тюремной парашаи прямо в бараке. Стоит бак, от него вонища. Выносят его те, кто посильнее.

Утром часто можно было увидеть: кто-тоazole нар не может подняться с четверенек.

– А-а... Помогите...

С пустой душой проходили мимо него – сегодня ты, а завтра я... Обречённый повалится у стенки, затихая навсегда. Тогда те, кто ещё жив, сообщают вахману, накидывают на шею трупа верёвку и выволакивают за территорию, зарывают прямо в песок.

В этом карательном лагере сидели чехи, поляки, русские, украинцы, французы. Свирепые венгры и румыны конвоировали на работу. Лупили беспощадно.

– Это вам не Сталин! Я покажу вам Сталина!

Когда на поверке одного зека не досчитались, яро поигрывая витой плёткой, румын-коротышка пошёл в барак его искать. Он долго не возвращался, стегая нарушителя дисциплины, не вставшего с нар. Другие охранники пошли посмотреть и вернулись хохоча: хотел мёртвого поднять! Не скоро они смогли уняться от смеха.

На работу водили без завтрака через беденькую деревушку. Недалеко от Северного моря немцы строили подземный завод и вырыли огромный котлован. К началу мая с моря дул пронизывающий ветер. Играли набегающие волны. Ткачёв впервые в жизни увидел море и корабль с пушками, громадный, что целая улица.

Он видел и лагерь с англичанами, которые содержались согласно конвенции, ходили в собственной форме, жёлтых ботинках, брюках цве-

та хаки и беретках. Они ели шоколад и играли в волейбол с красными, загорелыми физиями.

На глазах Васька сбили отставший от эскадрильи английский бомбардировщик. Он отчаянно отбивался от истребителей, но всё же его подожгли. Самолёт врезался в землю, лётчик, невысокий британский герой, спасшийся на парашюте, был пойман и, видимо, водворён в тот же лагерь.

Котлован продолжали углублять, сбрасывая грунт в низину. Дружными усилиями бригада человек в четырнадцать ворочала ломом землю. Узники ходили в деревянных башмаках-колодках вроде сабо, в них набивался песок.

От колющей крупы ноги опухали, некоторые, возвращаясь в лагерь, отставали от строя.

– Шнель! Шнель! – прикладом его. – Люс шнель! Фесте! Фесте!

Выбирали из колонны двоих покрепче, которые вели отстающего под руки.

Пока ждали вагонетки, укрывались от ветра в углублениях, сделанных в песке. Сидели на корточках спиной к почве. Ветхий пиджачишко не спас Васька от сырости, он простыл и тяжело заболел.

На следующий день он ещё смог сходить на работу, но через сутки, когда построили, держался за товарища. Старший полицай, румын в штатской одежде, один из тех, кто хохотал над избиением мертвеца, заметил его слабость и отставил в сторонку. В тот же день его поместили в блок для больных, а дня через два «чёрный ворон» увёз в лазарет, то есть такой же барак-сарай, стоявший на морском берегу.

Василий с трудом дышал, это походило на воспаление лёгких. Никакого лечения он не получал. Лишь дважды на больных вроде как ставили эксперименты, купая в ванне с тепловатой водой и заставляя потом стоять голыми на сквозняке.

Часто брали кровь из пальца и вены, шлёпая засохшую руку, чтобы набухла. Он слышал об опытах, которые ставят немцы, о детской крови для раненых, и чувствовал, что попал в подопытные. Ему думалось, что близится крематорий или просто песок пустыни. Никаких уколов, только кровь сосут и сосут, выдавливают на стеклочку.

Как во сне боролся за жизнь Василий. Чтобы пойти в туалет, он вцеплялся в стойку и полз на карачках к другой. Пальцы ног ломило так, что

невмоготу. Когда поднимаешься, темно в глазах. Согнёшься и хватаешься за стойку.

В бараке доживали последние дни много французов. Что-то бормоча, человек пытается встать с нар, беспомощно хватается за стойку, отваливается – и готов. Умирала многие, барак наполовину пустовал, после умерших оставались пайки хлеба. Хлеб не лез Василию в горло, аппетита не было.

– Дяденька, возьми мой хлеб, мне не нужен, – предложил он соседу.

– Ешь, сынок, сам. Перемоги себя. Помочи как-нибудь в воде, а то отощавешь.

Василий послушался его совета, оставшись на всю жизнь благодарным этому человеку.

Как он очухался, не подлежит объяснению. Почувствовал себя лучше и стал выползать из барака сначала на карачках, греясь на солнышке в животной позе. Видимо, поднялся благодаря собственному здоровью, унаследованному от деда. Вся деревня знала и помнила его, с огромной бородицей, как он шёл, неся два мешка по шесть пудов. Дед на спор поднимал шулы (столбы для ворот)...

Василия снова перевели в карлагерь и вскоре объявили, что его трёхмесячный срок кончился.

В конце войны бременский лагерь почти никак не охранялся. Рано с работы придёшь, можно было часа на два-три выбраться в город с аусвайсом, удостоверяющим личность. Охрану обойдёшь, там какой-нибудь старичок стоит, только рукой махнёт, мол, лишь бы возвратился на ночь. Василий и раньше вырывался в город, особенно в начале своей одиссеи, когда немцы платили деньги, пять – семь марок в месяц, и на них можно было что-то купить. Теперь всё продавалось в магазинах по карточкам. Войдёшь, колокольчик зазвенит, продавщица выходит к прилавку.

– Брод?.. (Хлеб есть?)

– Русиш? Карт нихт? Вер! Вер! (Карточки нет? Прочь! Прочь!)

Многодетный сухорукий офицер, у которого разбомбило дом в Бремене, взял Василия вместе с тёзкой, Василием Крикуновым, чтобы построить домик в деревне, где жила сестра офицера. В этой большой деревне со школой, ресторанчиком и пивнушкой, чистеньким домиком-баракком для пленных французов строители и ночевали. Правя одной рукой, каждый день на велосипеде туда приезжал офицер. Другая рука висела в чёрной перчатке.

– Крим. Русиш зольдатен пух! Криг...

Жили у хозяина по фамилии Люман, имевшего двух лошадей, девять коров, семь подтёлков, около двадцати свиней. Три года, не зная горя, работал у него Гришка, хохол из Каменец-Подольской области. У каждого хозяина здесь своё пастбище, огороженное проволокой, навесик от солнца. Коровы доятся там, где пасутся.

Только успели покрыть крышу домика, как через деревню прошли отступающие немецкие солдаты. Днём, перед обедом, налетели английские самолёты. Строчили длинными очередями, бросали зажигалки. Начался пожар. Лошадей и свиней не задело, а коровы, прикованные цепями, сгорели. Одна чудом спаслась и бродила обгоревшая.

После пожара вся деревня уехала к водяной мельнице, километра за два. Деревню бросили. Остались одни работники – русские девки, поляки, два Василия, Гришка. Кормили скотину, свиней, кур. На третий день появились англичане. Хлопали по плечу.

– О, рашен!

Англичане сказали, что нечего здесь больше болтаться, надо собираться и группами идти в Милитергаффе. Бывшие рабы взяли велосипеды и поехали в указанном направлении.

К ночи прибыли в Милитергаффе, военный городок. Сбросили лохмотья и переоделись в приличную одежду, порывшись в подвалах, набитых вещами и продуктами со всей Европы.

Около месяца тысячи человек жили в городке в казармах, комнатах по трое-четверо. Чистота, шифоньеры. Спортивный инвентарь – кольца, гири, гимнастические кони.

Первое время царил анархия. Потом власть взяли бывшие советские офицеры. Назначили дежурных, организовали дисциплину, молодых пробовали сбивать ротами и обучать военному делу. Командиром был Иван Александрович Ищенко.

Приехали два русских лейтенанта, собрали митинг.

– Дорогие братья и сёстры! Готовьтесь к возвращению на Родину! Не бойтесь... Всё, что было, Родина вам простит... Будут поданы машины, и вас перебросят в советскую зону оккупации.

Дня через два подошла колонна английских машин. «При полном боевом снаряжении», то есть по два мешка барахла на каждого, освобождённые узники забрались в кузова. Ехали через

105

разбитые речки, понтонные мосты, мимо вздыбленных рельсов. Прибыли в город Пархим.

Расселили их по баракам, после допросов в особом отделе разбили по ротам и батальонам. Утром объявили построение. Люди вышли со своими мешками. Комполка вышел и посмеялся.

– Товарищи! Нам предстоит большой путь! Нужно пройти две тысячи километров пешком. Оставьте при себе чашку, ложку, полотенце, две пары белья. Остальное – два шага вперёд и на землю. Но не отбираю. Несите, сколько сможете.

Колонна отправилась в путь. Мимо проезжали советские машины, которые везли зачехлённые станки. Когда проходили возле детского лагеря, дети двенадцати – шестнадцати лет в платьях и костюмчиках вышли навстречу и махали руками, провожая.

Шла колонна с охраной (и действительно, один бой с бандеровцами на советской территории произошёл) и стадом скота, съеденного за время пути.

В сентябре подошли к Волковыску, где постояли неделю. Здесь Ткачёв встретил Эдуарда. Как оказалось, он так и не пробился к линии фронта, но выжил. Выжил благодаря молоку, ко-

торое бауэры подвозили ночью городским клиентам и оставляли во флягах у домов.

Подогнали вагоны и повезли народ в Сибирь, хотя не сообщили, куда конкретно. Поедем-де на работу, поднимать разрушенное войной хозяйство. А пока суд да дело, будет проверка.

Привезя в Кузбасс, распределили: кого в Сталинск, кого в Мундыбаш, кого в Темиртау. Так Василий Петрович Ткачёв попал в этот посёлок. В 1945 году в Темиртау приезжали особысты, вызывали людей на ночные допросы.

Вскоре Ткачёв женился. В 1947-м вместе с женой съездил в родные места, увидел сгоревшие деревни Белоруссии, навестил полупарализованную мать... Один из его братьев погиб на фронте, второй пришёл без ноги.

С 1 октября 1945 года Василий Петрович начал работать в шахте и заработал 40 лет стажа. Не каждый умел проходить гезенки (вертикальные выработки), он же попал в первую тройку работников высшего разряда. Награждён знаками «Почётный горняк», «Ветеран труда КМК».

В 1964 году вступил в КПСС. Был председателем уличного комитета, депутатом поссовета. Хороший человек.

г. Кемерово